

Четыре неожиданно образовавшихся выходных Василий Егоров решил использовать с пользой. Знакомые мужики на катере по реке забросили его на Глухое озеро порыбачить.

Обустроил он свою палатку на старом таборе, где останавливался в прошлом году. Место проверенное, добычливое. Днями рыбачил с надувной лодки, на ночь ставил сетушки. Пойманную рыбу тут же солил. Времени для сна и витания в облаках практически не было. Всё в заботах. Заботы эти потом сторицей окупятся — в городе такой продукт, как вяленая рыбка, на ура уйдёт. Любителей пива нынче о-го-го сколько! Так что овчинка выделки стоила. Только к полуночи управлялся с заботами и у костерка, под чаёк, давал душе и телу отдохнуть.

Сегодняшняя ночь необычная, интересная. Ночь тринадцатого полнолуния, или, как её ещё называют, «ночь голубой луны». Хитрые люди — англичане — и тут смогли подменить своим кургузым: «Once in a Blue Moon» («Однажды при Голубой Луне») простое русское понятие «редко, почти никогда». Хотя ничего мистического и очень уж редкого в этом понятии нет: просто бывает в одном месяце два полнолуния, из-за того что промежуток между полнолуниями меньше календарного месяца, вот раз в два с половиной (примерно) года и «набегает» лишнее, тринадцатое полнолуние.

Луна огромным серебряным диском висит над тайгой. Кажется, протяни руку — и вот она: можно гладить, трогать, отламывать от неё кусочки, ощущать под кончиками пальцев её кратеры, лунные моря и горы. Под серебряной луной и тайга серебряного отлива. Дорожка лунного света, разрезая пополам чёрную гладь озера, упирается в берег перед палаткой.

Тишину ночной тайги да течение путаных мыслей нарушает только лёгкое постреливание догорающих в костре веток. Лёгкий, но уже тяжело-сырой ветерок пробивает свитер и холодит уставшее тело. Егоров проснулся в палатку, пошарил в её тёмном чреве рукой, нащупал ватник. Вынул его и накинул на плечи. Подсел ближе к костру. Где-то в глубине леса проскрипел коростель, да неожиданно пару раз, видать спросонья, откуковалась кукушка: «Гу-ку-у, гу-ку-у...»

Подперев спиной сосновый выворотень, Василий бездумно глядялся в затухающий костёр. С детства приученный не заливать костёр водой (огонь — это жизнь), дождался, когда костёр догорит сам. А уж потом на боковую...

Краем глаза, да даже не краем, а каким-то боковым, периферийным зрением заметил движение у дальней кромки озера. Неясный, расплывчатый силуэт двигался вдоль берега. Егоров, не вставая, подтянул за ремень к себе карабин. Не из боязни — так, для душевного спокойствия. Тайга...

Силуэт приближался. Очертания его становились чётче. Человек. Однозначно. Широкий островерхий капюшон и какая-то мохнатая накидка. Идёт спокойно, уверенно. Словно при свете дня. Ни споткнётся, ни хрустнет веткой. Местный, видать. Чужак бы давно ноги переломал. Василий уже с нескрываемым интересом поджидал гостя.

Но гостя не случилось.

Не доходя пары десятков метров до костра, незнакомец, даже не взглянув в сторону Егорова, повернул в тайгу. И когда пересекал лунную дорожку, Василий с удивлением разглядел, что мохнатая накидка на плечах незнакомца — медвежья шкура. И это очень Егорову не понравилось. Передёрнув затвор, загнал патрон в патронник.

Клацанье затвора инородно прозвенело в прозрачной тишине над озером.

Незнакомец остановился. А затем медленно повернул голову в сторону Егорова.

Лица у головы не было.

Только чёрная леденящая пустота в обрамлении капюшона. И это чернота то ли втягивала Василия в себя, то ли сама на него наползала. Сердце Егорова опустилось куда-то в область желудка, душу захлестнуло арктическим холодом.

Выстрел! Искры взметнулись над разнесённым пулей костром. Это палец Василия, сведённый судорогой страха, произвольно нажал спусковой крючок...

Незнакомец медленно, будто нехотя, отвернулся от оцепеневшего рыбака и продолжил свой путь. Дойдя до кромки леса, шагнул за неё — и словно его и не было...

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...» — Василий выдохнул шёпотом и опустился на землю.

«Вот тебе и сказки! Вот и не верь старикам: без лица, в медвежьей шкуре, в полнолуние... Лунный Охотник! Вот это я врюхался... — мысли пугались, бились одна о другую, кидались то врозь, то навстречу друг другу. — Где прошёл Лунный Охотник — не охотятся. Рискнувшему — один приз: смерть. Оно мне надо?! Ну а порыбачить? Тьфу! Что за глупости в башку лезут? Когти рвать нужно. Всё одно дословно легенду-то не помню, может, там ещё чего было. А может, не дёргаться? До утра уж чуть осталось...»

2.

Сонное распаренное солнце медленно выкатывалось из-за дальних сопок. Лёгкий туман курился над озером. На широком вымахе крыл, выглядывая добычу, кружился над сопками ястреб. День обещал быть жарким. Вместе с восходящим солнцем рассыпались в прах и пропадали ночные страхи.

Просидев, не смыкая глаз, всю ночь у костра, Василий на солнечном пригреве стал поклёвывать носом. Напряжение и усталость брали своё...

«Эй, у костра, слышь меня, что ли? Не пульни чего доброго с испугу — это я, дед Иван, Иван Михалыч, с Клычево. Слышь, что ли?..»

«Слышь, дядь Иван. Иди — не бойся. Это я, Василий».

«Который Василий-то? Василёв много...»
«Егоров».

«А-а, это ты, Василий?.. Чего зазря людей по ночам пальбой пугашь?»

Раздался хруст веток, шевельнулись кусты, и на поляну к палатке вышел старый Евсюков. Иван Михалыч. Трудно сказать, сколько ему лет: может, шестьдесят, может, восемьдесят. Бабы на селе про него говорят: «Снос старому нет». Есть ещё порош выгода немощным притвориться — восемьдесят, а с молодухой позубоскалить — и шести десятков не наберётся. Охотник-промысловик. Всю жизнь в тайге. Да и дети его тоже где-то по тайге бродят. Вся его рода такая. Лешаки, одним словом.

«Здоров, Вася! Один кукуешь? А я тут недалеко, за мыском, обустроился. Рыбалю маненько. А ночью слышу: бабах! У меня внутри всё и опустилось. Ктой-то, думаю, палит?! — рука Ивана Михалыча в пожарной крепка. Есть ещё порош в пороховницах. — Чайком старого побалуешь?»

«Можно и чайком, можно и чем крепче...»

«Не надось покрепче, чайком-то оно пользительнее».

Пока Василий гоношился с чаем, Евсюков полянку всю как есть глазом оббежал.

«Так ты чего, Вась, пуляешь по ночам? Не видно ж ни хрена! Спужал кто?»

«Лунный Охотник».

Иван Михалыч рассмеялся: «Энтот может! Время-то ныне его — полнолуние».

Но, видя, что Василий на шутку не отзывается, построжел лицом и неуверенно спросил: «Взаправду или как?..»

«Взаправду».

«Вона как... — Евсюков почесал затылок. — Слышать-то я много об ём слышал, но чтобы лично встречать эту тварь богомерзкую — нет, не доводилось. А ты, значит, сподобился. Ну и как?..»

«Ты ж, дядь Вань, выстрел слышал — вот и как...»

«Что ж, так прям ты по нему и пульнул?..» — Евсюков удивлённо выкатил глаза.

«Да ну тебя, старый! Скажешь — по нему! Да он как на меня глянул, и я про карабин-то забыл, да и про остальное тоже. Думал — всё! Аушки! Руки свело, вот палец на спуск и нажал, в костёр я и бахнул. А он и ноль внимания — отвернулся и дальше пошёл...»

«Как же он на тебя глядел-то? Говорят, у него и лица нет».

«Да лучше было б! Там под капюшоном — чернота одна. Бездна! И оттуда, из этой черноты, — холод. Ледяной! Будто на тебя вся преисподняя глядит. И тленом пахнет. И тянет туда, просто затягивает. Короче, ещё б секунда — либо крякнул бы я, либо штаны стирать пришлось...»

«Ну дак это понятно. Это ж чистое зло. Так сказать, в первозданном виде. Жизнь — то всяку нашу, вселенскую-то, Вась, два брата сотворили. На пару, значит. Пока дело-то делали — миром жили, а как дело-то к концу — повздорили. Вот с тех пор одного Богом зовут, другого чёртом. Отсюда и пошло: белое — чёрное, хорошее — плохое, день — ночь, добро — зло, — так сказать, борьба противоположностей. Вот этот Лунный Охотник — зло в чистом виде и есть. Выкормыш чёртов...»

«Слышь, Иван Михалыч, вот только философий не нужно сегодня разводить. Меня и так до сих пор потряхивает».

«Да какая это философия, Василий? Это факт. Как есть голый факт. Ну дак где чаёк-то?»

«А-а, извини, старый, заболтал ты меня. Секунду».

Чаёк у Егорова хорош, заборист и крепок. С листом брусничным. Но даже этот чай дремоту из Василия не выгнал.

«Иван Михалыч, ты чаёк-то погоняй, а я дреману часок, сил нет — глаза слипаются».

«Отдыхай, Василий. Не бойсь — тварь эта днями не бродит. Да и я покараулю...»

3.

«Ох и силён ты, Василий, ухо давить. Я уж и порыбалить успел, и ушицу заварганил. Иди морду-то сполосни да подгребай к столу — свежачка похлебам. Юшка-то ажно золотая получилась! Да куда ж ты в воду-то обумши? Ты хоть гачи в голяшки заправь — мокры ж будут! Тюха!» — дед откровенно потешался над ещё не проснувшимся Егоровым.

Уха действительно получилась на славу. Под такую уху-то Василий уговорил Михалыча и на рюмочку. Дед было отказался, но после первых выкушанных ложек ухи объявил: «Наливай!» Под рюмочку-другую уху быстро оприходовали.

Отодвинув пустую тарелку, дед уселся на любимого конька—за жизнь порассуждать.

«Вот, Вася, уговорил ты меня под ушицу выпить. Не хотел ведь я. А ты убедил. Без всякой аргументации уговорил. А ведь неправильно это. Людей, Василий, убеждать нужно аргументированно. Значит, чтобы до человека сразу доходило, что он неправ. Вот возьми батю моего покойного: как он словом владел! Как его люди понимали! Потому как с душой он к ним, и всё через неотразимые аргументы. Когда колхозы-то у нас организовывали, в других-то районах, сёлах раздрай—кто в лес, кто по дрова, а тут у нас всё чин чином—собрание, на ём батя, значит, речь пламенную, а потом голосование: кто за? кто против? И батя так, промежду делом, стволом пулемёта своего любимого „максимки“ по рядам-то и водит. И ты понимаешь, Василий, вот что значит сила убеждения—ни одного против! Все за колхоз! Или, там, когда батю-то леспромхозом командовать поставили—опять же леспромхоз первым был. Гремел на всю область. И всё благодаря простому человеческому слову. Вызовет, бывало, отец кого провинившегося к себе, маузером наградным своим ткнёт тому в нос и спрашивает: „Чуешь, контра, чем пахнет? Правильно—дымом. Значит, только что стреляли из него. А в кого? Да в такого же провокатора и бездельника, как ты“ И человек сразу признаёт, что неправ. И работает потом с таким удовольствием, что любо-дорого! Вот что слово-то доброе, аргументированное с людьми делает. Чё ты всё ха-ха да ха-ха? Я тебе за жизнь, а тебе всё смешочки».

«Ну, с такими аргументами, как у бати твоего, и я бы любого убедил».

«Э-э, нет. В тридцать восьмом пришли за батей три контры ежовские, с бумагой при печати, со словами грозными, тоже аргументами трясли, наганами, значит, да только пустое это, против багиного аргумента—тьфу!—растереть и забыть! Не убедили. Так и легли у нашего крыльца кажный с дыркой во лбу. Конных прислали—так батя их с крыши, с „максимки“ безотказного и положил. А потом с пятью мужиками, друзьями своими, в тайгу и ушёл. На дальние заимки. Перед уходом парторгу леспромхоза и сказал: мол, ежели чего власти с бабами нашими и, не дай Бог, детьми сотворят, аргументированно закопаю—каждого! И ведь не тронули! Во-о-от, а ты не веришь, что слово доброе души злые исцеляет. И глаза плохим людям на мир открывает. Да, конечно, подёргали мамок наших, постращали, но ни одну из пятерых не тронули. Умел, умел батя людей в их неправоте убеждать...»

«Так слышал я—сидел он, батя твой?»

«Ну а как не сидел? Как все в нашей стране, как положено—сидел. Они ведь, все пятеро, в сорок первом через другую область на фронт подались. Какая ни есть, а родина. Как же её в беде-то бросишь? Двое в сорок пятом с фронта всего и пришли. Батя и друг его, Ефрем Козырев. У Ефрема ажно орден Ленина, у бати две „Славы“ да медалей горсти две. Мы пацанами потом из их блёсны для рыбалки делали. Самые лучшие блёсны из „Отваги“ да „Боевых заслуг“ получились. Серебряные. Ну, это я так, к слову. Вот отгуляли победу, и подались они с Ефремом в органы сдаваться. Сами. Вину отмыывать, хоть и не виноваты. Повезло мужикам, после войны-то на некоторое время смертну казнь-то отменили, вот их и не постреляли. Да и дали орденосцам, как батя говорил, по справедливости. По году за каждого пешего ежовского контрика и по году за каждого конного. Итого по восемь лет на брата и набралось. Мужики и рады были. В пятьдесят третьем осенью и вышли. Радостные: Берю прижучили! Ох, погуляли. Последний раз. Потом уж не до гуляний было. Работа, заботы. Вот так, радостные, вольные, с отмытыми грехами, в пятьдесят седьмом один за другим и ушли. Лагеря—это не шутки, кто честно сидел—те долго не жили... Аргументированно».

«Так зачем батя-то на родину вернулся? Плядишь—и не посадили бы, да и пожил бы подольше. Или бы вас, ребятню всю с матерью, к себе перевёз, ну, туда, где его не знали. На войне ж его органы не дёргали?...»

«Как тебе, Василий, объяснить-то? Понимаешь, человек—не кукушка, ему без гнезда никак. В смысле—без родины. Чужой край—он и есть чужой, а с родным-то краем человек пуповиной повязан. Это сейчас люди без корней живут, как перекасти-поле. Оттого и нелады на земле. А тогда душу, особенно крестьянскую, от родной-то земли никакой силой не оторвать было. Да и от самого себя всю жизнь не набегаешься».

После перекуса да праздных разговоров накачал Егоров лодку и сходил на ней до выставленных сетей. Выбрал улов да переставил сети на новые места. Может, улов там покрепче будет. Последняя постановка. Завтра утром уж мужики должны за ним прийти на катере...

4.

Евсюков едва дождался возвращения Василия с озера. Помогая вытащить лодку на берег и разгрузить улов, перескакивая с одного на другое, частил: «Ты, Вася, только подумай: тут, почти в упор, гон у коз диких. Козлы так лбами рогатыми и сходятся. Искры по лесу! Километра не прошёл, а у них там—игрища. Козлы вверх сигают метра на полтора! А козы-дуры стоят, рты раззявили—женихов

выбирают. Слышь, Вась, жизнь прожил—такого большого сборища не видывал. Дай карабин, одного рогатого завалю! Одного, нам же больше не надо. От их не убудет, там их—у-у-у!—прорва! А нам в радость—душу потешили да свеженинкой побаловались. У козы-то печёнка до чего сахарна! Тёплу её ещё в солوشку-то помакашь—ой, и в рот—да никаких коврижек не нужно! Да слышь ты меня, Василий?!»

«Ну?»

«Чего—ну? Когда ещё такой талан в руки привалит, а? Вась, давай завалим рогатого! Чего они там попусту прыгают?»

«Нельзя».

«С какого перепугу нельзя?!»

«Сам говорил: где прошёл Лунный Охотник—охотиться нельзя».

«Ну дак это тебе нельзя—ты его видел. Это тебе он свои владения обозначил. А я тут при чём?! Ничего и знать не знаю. Мало ли где он ходит? Мне-то он ничего не обозначал. А я вроде тебя и не видел. А, Василий?»

«Иван Михалыч, не дам. Чёрт его знает, как он там: видел—не видел, знаю—не знаю? Не приведи Бог, случится что с тобой—век себе не прошу. Ведь долго живёшь, а всё как малой».

«Долго живут только сказки да легенды, вот как эта—об Охотнике. А я человек. Мне всё одно уходить. Мне и покурлесить можно. А потом покаяться».

«Будет ли возможность покаяться-то?»

«Не сомневайся даже. Дай карабин».

Не соврал старый Евсюков—быстро управился. Не прошло и часа, а он уже свежевал добытого козла. Всё у него получалось ловко, споро да ладно. Что говорить—промысловик. Всю жизнь на охоте. И осуждать-то язык не поворачивается.

Егоров участие в этом действе не принимал. Не потому, что осторожничал, просто Михалычу в данный момент помощники и без надобности. Он был в своей стихии. И просто млел от радости.

«Иманух бить нельзя—от них приплод. А иман сейчас в самом соку. Жиру по этому времени в нём больше, чем в тарбагане. Ох, не зря я к тебе с утра подгрёб! Вишь, к вечеру с какой добычей!»

Под разговоры, свеженинку да крепко заваренный чайк не заметили, как и стемнело. Егоров прибрал в мешки всё, что нужно будет погрузить

утром на катер: чего мужиков зря задерживать? Оставил только палатку, спальный мешок да кусок мешковины—старому-то тоже на чём-то нужно noch скоротать.

Присел к костру по-вчерашнему, уютно откинувшись спиной на старый сосновый выворотень. Костёр постреливал в ночное небо синеватыми угольями. Над озером висела огромная, в голубой дымке, луна.

«Вот, Василий, легенды, оно, конечно, чтить надо, но без дрожи в ногах. Кого касаемо, тому—да, нарушать лесной закон не моги! Ни-ни! Ну а кому...»

Дёрнулось пламя костра, словно ветром сорвали его с прогоревших поленьев, разом захолодало. Егоров зябко передёрнул плечами—даже сквозь телогрейку холод пробрал до костей. Что за чёрт? Рановато для заморозков. Только тут обратил внимание, что Иван Михайлович молчит, да и смотрит не на него, Василия, а куда-то ему за спину. Встал, обернулся...

Антрацитово-чёрная бездна, чуть прикрытая островархим капюшоном, безмолвно смотрела (если применимо здесь было это слово) на людей. Ледящий холод и сладковатый запах тлена тянулись из её глубин...

«Всё»,—это единственное, что успел выдать мозг Егорова.

Старик Евсюков сделал шаг в сторону чёрного небытия и молча, столбиком, лицом вниз рухнул на землю. Ещё мгновение, показавшееся Василию бесконечным, фигура в медвежьей шкуре стояла неподвижно. Затем развернулась и ровным, размеренным шагом ушла в тайгу...

Егоров мешком осел на землю. Мозг был пуст. А потом вдруг ясно и чётко пришло понимание, что старого Евсюкова убил не Лунный Охотник, а он, он—Василий Егоров. Убил своим языком. Это он, Егоров обозначил старику границы охотничьих угодий Охотника. Он, Егоров, зарядил Михалыча знанием о предупреждении Лунного Охотника. Он, Егоров, дал старику карабин для охоты...

Промолчи Василий о своих видениях в полнолуние—и ничего бы старику не было за его стрельбу. А так—знал старик, всё знал и нарушил закон тайги.

А закон таёжный—не закон людской, от которого откупиться можно. Тайга сама судит. Сама выносит приговор. Сама его и исполняет...